

Юлиан
СЕМЕНОВ

Малое
собрание
сочинений



АЗБУКА

Санкт-Петербург

**Семнадцать
МГНОВЕНИЙ весны**

Роман

Памяти отца посвящаю

«КТО ЕСТЬ КТО?»

Сначала Штирлиц не поверил себе: в саду пел соловей. Воздух был студеным, голубоватым, и, хотя тона кругом были весенние, февральские, осторожные, снег еще лежал плотный и без той внутренней, робкой синевы, которая всегда предшествует ночному таянию.

Соловей пел в орешнике, который спускался к реке, возле дубовой рощи. Могучие стволы старых деревьев были черные; пахло в парке свежзамороженной рыбой. Сопутствующего весне сильного запаха прошлогодней березовой и дубовой прели еще не было, а соловей заливался вовсю — целкал, рассыпался трелью, ломкой и беззащитной в этом черном, тихом парке.

Штирлиц вспомнил деда: старик умел разговаривать с птицами. Он садился под деревом, подманивал синицу и подолгу смотрел на пичугу, и глаза у него делались тоже птичьими — быстрыми, черными бусинками, и птицы совсем не боялись его.

«Пинь-пинь-тарарах!» — высвистывал дед.

И синицы отвечали ему — доверительно и весело.

Солнце ушло, и черные стволы деревьев опрокинулись на белый снег фиолетовыми ровными тенями.

«Замерзнет, бедный, — подумал Штирлиц и, запахнув шинель, вернулся в дом. — И помочь никак нельзя: только одна птица не верит людям — соловей».

Штирлиц посмотрел на часы.

«Клаус сейчас придет, — подумал Штирлиц. — Он всегда точен. Я сам просил его идти от станции через лес, чтобы ни с кем не встречаться. Ничего. Я подожду. Здесь такая красота...»

Этого агента Штирлиц всегда принимал здесь, в маленьком особнячке на берегу озера — своей самой удобной конспиративной квартире. Он три месяца уговаривал обергруппенфюрера СС

Поля выделить ему деньги для приобретения виллы у детей погибших при бомбежке танцоров «Оперы». Детки просили много, и Поль, отвечавший за хозяйственную политику СС и СД, категорически отказывал Штирлицу. «Вы сошли с ума, — говорил он, — снимите что-нибудь поскромнее. Откуда эта тяга к роскоши? Мы не можем швырять деньги направо и налево! Это бесчестно по отношению к нации, несущей бремя войны».

Штирлицу пришлось привезти сюда своего шефа — начальника политической разведки службы безопасности. Тридцатичетырехлетний бригаденфюрер СС Вальтер Шелленберг сразу понял, что лучшего места для бесед с серьезными агентами найти невозможно. Через подставных лиц была произведена купчая, и некий Бользен, главный инженер «химического народного предприятия имени Роберта Лея», получил право пользования виллой. Он же нанял сторожа за высокую плату и хороший паек. Бользеном был штандартенфюрер СС фон Штирлиц.

...Кончив сервировать стол, Штирлиц включил приемник. Лондон передавал веселую музыку. Оркестр американца Глена Миллера играл композицию из «Серенады Солнечной долины». Этот фильм понравился Гиммлеру, и в Швеции была закуплена одна копия. С тех пор ленту довольно часто смотрели в подвале на Принц-Альбрехтштрассе, особенно во время ночных бомбежек, когда нельзя было допрашивать арестованных.

Штирлиц позвонил сторожу и, когда тот пришел, сказал:

— Дружище, сегодня можете поехать в город, к детям. Завтра возвращайтесь к шести утра и, если я еще не уеду, заварите мне крепкий кофе, самый крепкий, какой только сможете...

12. 2. 1945 (18 часов 38 минут)

«— Как вы думаете, пастор, чего больше в человеке: человека или животного?»

— Я думаю, что того и другого в человеке поровну.

— Так не может быть.

— Может быть только так.

— Нет.

— В противном случае что-нибудь одно давно бы уже победило.

— Вы упрекаете нас в том, что мы апеллируем к низменному, считая духовное вторичным. Духовное действительно вторично. Духовное вырастает как грибок на основной закваске.

— И эта закваска?

— Честолюбие. Это то, что вы называете похотью, а я называю здоровым желанием спать с женщиной и любить ее. Это здоровое стремление быть первым в своем деле. Без этих устремлений все развитие человечества прекратилось бы. Церковь немало приложила сил к тому, чтобы затормозить развитие человечества. Вы понимаете, о каком периоде истории церкви я говорю?

— Да-да, конечно, я знаю этот период. Я прекрасно знаю этот период, но я знаю и другое. Я перестаю видеть разницу между вашим отношением к человеку и тем, которое проповедует фюрер.

— Да?

— Да. Он видит в человеке честолюбивую бестию. Здоровую, сильную, желающую отвоевать себе жизненное пространство.

— Вы не представляете себе, как вы не правы, ибо фюрер видит в каждом немце не просто бестию, но белокурую бестию.

— А вы видите в каждом человеке бестию вообще.

— А я вижу в каждом человеке то, из чего он вышел. А человек вышел из обезьяны. А обезьяна суть животное.

— Тут мы с вами расходимся. Вы верите в то, что человек произошел от обезьяны; вы не видели той обезьяны, от которой он произошел, и эта обезьяна ничего вам не сказала на ухо на эту тему. Вы этого не пощупали, вы этого не можете пощупать. И верите в это, потому что эта вера соответствует вашей духовной организации.

— А вам Бог сказал на ухо, что он создал человека?

— Разумеется, мне никто ничего не говорил, и я не могу доказать существование Божье, это недоказуемо, в это можно только верить. Вы верите в обезьяну, а я верю в Бога. Вы верите в обезьяну, потому что это соответствует вашей духовной организации; я верю в Бога, потому что это соответствует моей духовной организации.

— Здесь вы несколько подтасовываете. Я не верю в обезьяну. Я верю в человека.

— Который произошел от обезьяны. Вы верите в обезьяну в человеке. А я верю в Бога в человеке.

— А Бог, он что — в каждом человеке?

— Разумеется.

— Где же он в фюрере? В Геринге? Где он в Гиммлере?

— Вы задаете трудный вопрос. Мы же говорим с вами о природе человеческой. Разумеется, в каждом из этих негодяев можно найти следы павшего ангела. Но к сожалению, вся их природа настолько подчинилась законам жестокости, необходимости, лжи, подлости, насилия, что практически там уже ничего и не осталось человеческого. Но я в принципе не верю, что человек, рождающийся на свет, обязательно несет в себе проклятие обезьяньего происхождения.

— Почему проклятие обезьяньего происхождения?

— Я говорю на своем языке.

— Значит, надо принять божеский закон по уничтожению обезьян?

— Скорее всего, нет.

— Вы все время очень нравственно уходите от ответа на вопросы, которые меня мучают. Вы не даете ответа „да“ или „нет“, а каждый человек, ищущий веры, любит конкретность, и он любит одно „да“ и одно „нет“. У вас же есть „да нет“, „нет же“, „скорее всего нет“ и прочие фразеологические оттенки „да“. Вот именно это меня глубоко, если хотите, отталкивает не столько от вашего метода, сколько от вашей практики.

— Вы неприязненно относитесь к моей практике. Ясно... И тем не менее вы прибежали из концлагеря ко мне. Как это увязать?

— Это лишний раз свидетельствует о том, что в каждом человеке, как вы говорите, наличествует и божественное, и обезьянье. Если бы во мне наличествовало только божественное, я бы к вам не обратился. Не стал бы убегать, я принял бы смерть от эсэсовских палачей, подставил бы им вторую щеку, чтобы пробудить в них человека. Вот если бы вам пришлось попасть к ним, интересно, вы бы подставили свою вторую щеку или постарались избежать удара?

— Что значит — подставить вторую щеку? Вы опять проецируете символическую притчу на реальную машину нацистского государства. Одно дело — подставить щеку в притче. Как я вам уже говорил, эта притча совести человеческой. Другое дело — попасть в машину, которая не спрашивает у тебя, подставляешь ты вторую щеку или нет. Попасть в машину, которая в принципе,

в идее своей лишена совести... Разумеется, с машиной, или с камнем на дороге, или со стеной, на которую ты натыкаешься, нечего общаться так, как ты общаешься с другим существом.

— Пастор, мне неловко, — может быть, я прикасаюсь к вашей тайне, но... Вы что, были в свое время в гестапо?

— Ну что же я могу вам сказать? Я был там...

— Понятно. Вы не хотите касаться этого вопроса, ибо для вас это очень болезненный вопрос. А не думаете ли вы, пастор, что после окончания войны паства не будет верить вам?

— Мало ли кто сидел в гестапо.

— А если пастве шепнут, что пастора в качестве провокатора подсаживали в камеры к другим заключенным, которые не вернулись? А таких-то — вернувшихся, как вы, — единицы из миллионов... Не очень-то паства поверит вам... Кому вы тогда будете проповедовать свою правду?

— Разумеется, если действовать на человека подобными методами, можно уничтожить кого угодно. В этом случае вряд ли я смогу что бы то ни было исправить в моем положении.

— И что тогда?

— Тогда? Опровергать это. Опровергать, сколько смогу, опровергать до тех пор, пока меня будут слушать. Когда не будут слушать — умереть внутренне.

— Внутренне. Значит, живым, плотским человеком вы остаетесь?

— Господь судит. Останусь так останусь.

— Ваша религия против самоубийства?

— Потому-то я и не покончу с собой.

— Что вы будете делать, лишенный возможности проповедовать?

— Я буду верить не проповедуя.

— А почему вы не видите для себя другого выхода — трудиться вместе со всеми?

— Что вы называете „трудиться“?

— Таскать камни для того, чтобы строить храмы науки — хотя бы.

— Если человек, кончивший богословский факультет, нужен обществу только затем, чтобы таскать камни, то мне не о чем говорить с вами. Тогда действительно мне лучше сейчас вернуться в концлагерь и сгореть там в крематории...

— Я лишь ставлю вопрос — а если? Мне интересно послушать ваше предположительное мнение — так сказать, фокусировку вашей мысли вперед.

— Вы считаете, что человек, который обращается к пастве с духовной проповедью, — бездельник и шарлатан? Вы не считаете это работой? У вас работа — это таскание камней, а я считаю, что труд духовный есть, мало сказать, равноправный с любым другим труд — труд духовный есть особо важный.

— Я сам по профессии журналист, и мои корреспонденции подвергались остракизму как со стороны нацистов, так и со стороны ортодоксальной церкви.

— Они подвергались осуждению со стороны ортодоксальной церкви по той элементарной причине, что вы неправильно толковали самого человека.

— Я не толковал человека. Я показывал мир воров и проституток, которые жили в катакомбах Бремена и Гамбурга. Гитлеровское государство назвало это гнусной клеветой на высшую расу, а церковь назвала клеветой на человека.

— Мы не боимся правды жизни.

— Бойтесь! Я показывал, как эти люди пытались приходить в церковь и как церковь их отталкивала; именно паства отталкивала их, и пастор не мог идти против паствы.

— Разумеется, не мог. Я не осуждаю вас за правду. Я осуждаю вас за то, что вы показывали правду. Я расхожусь с вами в прогнозах на будущего человека.

— Вам не кажется, что в своих ответах вы не пастырь, а политик?

— Просто вы видите во мне только то, что укладывается в вас. Вы видите во мне политический контур, который составляет лишь одну плоскость. Точно так же, как можно увидеть в логарифмической линейке предмет для забивания гвоздей. Логарифмической линейкой можно забить гвоздь, в ней есть протяженность и известная масса. Но это тот самый вариант, при котором видишь десятую, двадцатую функцию предмета, между тем как с помощью линейки можно считать, а не только забивать гвозди.

— Пастор, я ставлю вопрос, а вы, не отвечая, забиваете в меня гвозди. Вы как-то очень ловко превращаете меня из спрашивающего в ответчика. Вы как-то сразу превращаете меня из ищущего в еретика. Почему же вы говорите, что вы — над схваткой, когда вы тоже в схватке?

— Это верно: я в схватке, и я действительно в войне, но я воюю с самой войной.

— Вы очень материалистически спорите.

— Я спорю с материалистом.

— Значит, вы можете воевать со мной моим оружием?

— Я вынужден это делать.

— Послушайте... Во имя блага вашей паствы — мне нужно, чтобы вы связались с моими друзьями. Адрес я вам дам. Я доверю вам адрес моих товарищей... Пастор, вы не предадите невинных...»

Штирлиц кончил прослушивать эту магнитофонную запись, быстро поднялся и отошел к окну, чтобы не встречаться взглядом с тем, кто вчера просил пастора о помощи, а сейчас ухмылялся, слушая свой голос, пил коньяк и жадно курил.

— С куревом у пастора было плохо? — спросил Штирлиц не оборачиваясь.

Он стоял у окна — громадного, во всю стену — и смотрел, как вороны дрались на снегу из-за хлеба: здешний сторож получал двойной паек и очень любил птиц. Сторож не знал, что Штирлиц — из СД, и был твердо уверен, что коттедж принадлежит либо гомосексуалистам, либо торговым воротилам: сюда ни разу не приезжала ни одна женщина, а когда собирались мужчины, разговоры у них были тихие, еда — изысканная и первоклассное, чаще всего американское, питье.

— Да, я там замучился без курева... Старичок говорит, а мне хотелось повеситься без табака...

Агента звали Клаус. Его завербовали два года назад. Он сам шел на вербовку: бывшему корректору хотелось острых ощущений. Работал он артистично, обезоруживая собеседников искренностью и резкостью суждений. Ему позволяли говорить все: лишь бы работа была результативной и быстрой. Присматриваясь к Клаусу, Штирлиц с каждым днем их знакомства испытывал все возрастающее чувство страха.

«А может быть, он болен? — подумал однажды Штирлиц. — Жажда предательства тоже своеобразная болезнь. Занятно: Клаус полностью бьет Ломброзо¹ — он страшнее всех преступников, которых я видел, а как благообразен и мил...»

¹ *Ломброзо Чезаре* (1835–1909) — итальянский психиатр и криминалист, родоначальник антропологического направления в буржуазном уголовном праве.

Штирлиц вернулся к столику, сел напротив Клауса, улыбнулся ему.

— Ну? — спросил он. — Значит, вы убеждены, что старик наладит вам связь?

— Да, это вопрос решенный. Я больше всего люблю работать с интеллигентами и священниками. Знаете, это поразительно — наблюдать, как человек идет на гибель. Иногда мне даже хотелось сказать иному: «Стой! Глупец! Куда?!»

— Ну, это уж не стоит, — сказал Штирлиц, — это было бы неразумно.

— У вас нет рыбных консервов? Я схожу с ума без рыбы. Фосфор, знаете ли. Требуют нервные клетки...

— Я приготовлю вам хороших рыбных консервов. Какие вы хотите?

— Я люблю в масле...

— Это я понимаю... Какого производства? Нашего или...

— «Или», — засмеялся Клаус. — Пусть это не патриотично, но я очень люблю и продукты, и питье, сделанные в Америке или во Франции...

— Я приготовлю для вас ящик настоящих французских сардин. Они в оливковом масле, очень пряные... Масса фосфора... Знаете, я вчера посмотрел ваше досье...

— Дорого бы я дал за то, чтобы взглянуть на него хоть одним глазом...

— Это не так интересно, как кажется... Когда вы говорите, смеетесь, жалуется на боль в печени — это впечатляет, если учесть, что перед этим вы провели головоломную операцию... А в вашем досье — скучно: рапорты, донесения. Все смешалось: ваши доносы, доносы на вас... Нет, это неинтересно... Занятно другое: я подсчитал, что по вашим рапортам, благодаря вашей инициативе было арестовано девяносто семь человек... Причем все они молчали о вас. Все без исключения. А их в гестапо довольно лихо обрабатывали...

— Зачем вы говорите мне об этом?

— Не знаю... Пытаюсь анализировать, что ли... Вам бывало больно, когда людей, дававших вам приют, потом забирали?

— А как вы думаете?

— Я не знаю.

— Черт его поймет... Я, видимо, чувствовал себя сильным, когда вступал с ними в единоборство. Меня интересовала схватка...

То, что будет с ними потом, — не знаю... Что будет потом с нами? Со всеми?

— Тоже верно, — согласился Штирлиц.

— После нас — хоть потоп. И потом, наши люди: трусость, низость, жадность, доносы. В каждом, просто-напросто в каждом. Среди рабов нельзя быть свободным... Это верно. Так не лучше ли быть самым свободным среди рабов? Я-то все эти годы пользовался полной духовной свободой...

Штирлиц спросил:

— Слушайте, а кто приходил позавчера вечером к пастору?

— Никто.

— Около девяти...

— Вы ошибаетесь, — ответил Клаус, — во всяком случае, от вас никто не приходил, я был там совсем один.

— Может быть, это был прихожанин? Мои люди не разглядели лица.

— Вы наблюдали за его домом?

— Конечно. Все время... Значит, вы убеждены, что старик будет работать на вас?

— Будет. Вообще я чувствую в себе призвание оппозиционера, трибуна, вождя. Люди покоряются моему напору, логике мышления...

— Ладно. Молодчина, Клаус. Только не хвастайтесь сверх меры. Теперь о деле... Несколько дней вы проживете на одной нашей квартире... Потому что после вам предстоит серьезная работа, и причем не по моей части...

Штирлиц говорил правду. Коллеги из гестапо сегодня попросили дать им на недельку Клауса: в Кельне были схвачены два русских «пианиста». Их взяли за работой, прямо у радиоаппарата. Они молчали, к ним нужно было подсадить хорошего человека. Лучше, чем Клаус, не сыщешь. Штирлиц обещал найти Клауса.

— Возьмите в серой папке лист бумаги, — сказал Штирлиц, — и пишите следующее: «Штандартенфюрер! Я смертельно устал. Мои силы на исходе. Я честно работал, но больше я не могу. Я хочу отдыха...»

— Зачем это? — спросил Клаус, подписывая письмо.

— Я думаю, вам не помешает съездить на недельку в Инсбрук, — ответил Штирлиц, протягивая ему пачку денег. — Там казино работают, и юные лыжницы по-прежнему катаются с гор. Без этого письма я не смогу отбить для вас неделю счастья.

— Спасибо, — сказал Клаус, — только денег ведь у меня много...
— Больше не помешает, а? Или помешает?
— Да в общем-то — не помешает, — согласился Клаус, пряча деньги в задний карман брюк. — Сейчас гонорею, говорят, довольно дорого лечить...

— Вспомните еще раз: вас никто не видел у пастора?
— Нечего вспоминать — никто.
— Я имею в виду и наших людей.
— Вообще-то, меня могли видеть ваши, если они наблюдали за домом этого старика. И то — вряд ли... Я не видел никого...

Штирлиц вспомнил, как неделю назад он сам одевал его в одежду каторжника перед тем, как устроить спектакль с прогоном заключенных через ту деревню, в которой теперь жил пастор Шлаг. Он вспомнил лицо Клауса тогда, неделю назад: его глаза лучились добротой и мужеством — он уже вошел в роль, которую ему предстояло сыграть. Тогда Штирлиц говорил с ним иначе, потому что в машине рядом сидел святой — так прекрасно было его лицо, скорбен голос и так точны были слова, которые он произносил.

— Это письмо мы опустим по пути на вашу новую квартиру, — сказал Штирлиц. — И набросайте еще одно — пастору, чтобы не было подозрений. Это попробуйте написать сами. Я не стану вам мешать, заварю еще кофе.

Когда он вернулся, Клаус держал в руках листок бумаги.

— «Честность подразумевает действие, — посмеиваясь, начал читать он, — вера зиждется на борьбе. Проповедь честности при полном бездействии — предательство: и паствы, и самого себя. Человек может себе простить нечестность, потомство — никогда. Поэтому я не могу простить себе бездействия. Бездействие — это хуже, чем предательство. Я ухожу. Оправдайте себя: Бог вам в помощь». Ну как? Ничего?

— Лихо. Скажите, вы не пробовали писать прозу? Или стихи?

— Нет. Если бы я мог писать — разве бы я стал... — Клаус вдруг оборвал себя и украдкой глянул на Штирлица.

— Продолжайте, чудак. Мы же с вами говорим в открытую. Вы хотели сказать: умеете вы писать, разве бы вы стали работать на нас?

— Что-то в этом роде.

— Не в этом роде, — поправил его Штирлиц, — а именно это вы хотели сказать. Нет?

— Да.

— Молодец. Какой вам резон мне-то врать? Выпейте виски, и тронем, уже стемнело, скоро, видимо, янки прилетят.

— Квартира далеко?

— В лесу, километров десять. Там тихо, отоспитесь до завтра...

Уже в машине Штирлиц спросил:

— О бывшем канцлере Брюнинге он молчал?

— Я же говорил вам об этом — сразу замыкался в себе. Я боялся на него жать...

— Правильно делали... И о Швейцарии он тоже молчал?

— Наглухо.

— Ладно. Подберемся с другого края. Важно, что он согласился помогать коммунисту. Ай да пастор!

Штирлиц убил Клауса выстрелом в висок. Они стояли на берегу озера. Здесь была запретная зона, но пост охраны — это Штирлиц знал точно — находился в двух километрах, уже начался налет, а во время налета пистолетный выстрел не слышен. Он рассчитал, что Клаус упадет с бетонной площадки — раньше отсюда ловили рыбу — прямо в воду.

Клаус упал в воду молча, кулем. Штирлиц бросил в то место, куда он упал, пистолет (версия самоубийства на почве нервного истощения выстроилась точно, письма были отправлены самим Клаусом), снял перчатки и пошел через лес к своей машине. До деревушки, где жил пастор Шлаг, было сорок километров. Штирлиц высчитал, что он будет у него через час, — он предусмотрел все, даже возможность предъявления алиби по времени...

12. 2. 1945 (19 часов 56 минут)

(Из партийной характеристики члена НСДАП с 1930 года
группенфюрера СС Крюгера:

«Истинный ариец, преданный фюреру. Характер — нордический, твердый. С друзьями — ровен и общителен; беспощаден к врагам рейха. Отличный семьянин; связей, порочащих его, не имел. В работе зарекомендовал себя незаменимым мастером своего дела...»)

После того как в январе 1945 года русские ворвались в Краков и город, столь тщательно заминированный, остался целехоньким,

начальник имперского управления безопасности Кальтенбруннер приказал доставить к себе шефа восточного управления гестапо Крюгера.

Кальтенбруннер долго молчал, приглядываясь к тяжелому, массивному лицу генерала, а потом очень тихо спросил:

— У вас есть какое-либо оправдание — достаточно объективное, чтобы вам мог поверить фюрер?

Мужиковатый, внешне простодушный Крюгер ждал этого вопроса. Он был готов к ответу. Но он обязан был сыграть целую гамму чувств: за пятнадцать лет пребывания в СС и в партии он научился актерству. Он знал, что сразу отвечать нельзя, как нельзя и полностью оспаривать свою вину. Даже дома он ловил себя на том, что стал совершенно другим человеком. Сначала он еще изредка говорил с женой, да и то шепотом, по ночам, но с развитием специальной техники, а он, как никто другой, знал ее успехи, он перестал вообще говорить вслух то, что временами позволял себе думать. Даже в лесу, гуляя с женой, он молчал или говорил о пустяках, потому что в центре в любой момент могли изобрести аппарат, способный записывать голос на расстоянии в километр или того больше.

Так постепенно прежний Крюгер исчез; вместо него в оболочке знакомого всем и внешне ничуть не изменившегося человека существовал другой, созданный прежним, совершенно не знакомый никому генерал, боявшийся не то что говорить правду, нет, боявшийся разрешать себе думать правду.

— Нет, — ответил Крюгер, нахмурившись, подавляя вздох, очень прочувствованно и тяжело, — достаточного оправдания у меня нет... И не может быть. Я — солдат, война есть война, и никаких поблажек себе я не жду.

Он играл наперняка. Он знал, что чем суровее по отношению к самому себе он будет, тем меньше оружия он оставит в руках Кальтенбруннера.

— Не будьте бабой, — сказал Кальтенбруннер, закуривая, и Крюгер понял, что выбрал абсолютно точную линию поведения. — Надо проанализировать провал, чтобы не повторять его.

Крюгер сказал:

— Обергруппенфюрер, я понимаю, что моя вина — безмерна. Но я хотел бы, чтобы вы выслушали штандартенфюрера Штирлица. Он был полностью в курсе нашей операции, и он может